

Владимир Алексеев

ЛЕНИНГРАД. ОСЕНЬ. 1977 год.

Кто мимоходом выламывал двери,
На переулках пустых и забытых?
Кто зажимал золотые глаза у пернатых
птиц, или девушек нежных, случайных?
Я не забуду погибшие рощи,
Звон апельсинов, клыкастые крики...
...Нет не люблю этих парков ста-
ринных
Павших друзей оголенные своды.

Кто потерялся во мгле этого города?!

Кто, одиночка, согнув спину, сунув руки в карманы, бредет по мокрым улицам, по мокрому, словно банному полу, асфальту, съеденному паром-туманом, устале шепча что-то себе под ноги?!

Уж не молитву ли? Или проклятия? Какая разница!
Вон раскачиваются на проводах лампочки, а они, подвешенные светящиеся головы, смотрят на город в осенней мгле, печально встаящий темными домами, глядящими в темное небо, в темные провалы: улицы, где свистит и вольно ходит ветер.

Холодно. Жутко. Стекают по стеклам такси капли, льются; спешит переходя улицу женщина: о дрожь колен!

Кто там следит за ней из-за угла, глядя мокрыми глаза-

ми, хлопая ресницами? Какой площадной шут?! Какой вечерний герой с размытой краской на лице?!

Что он держит в кармане? Нож или еще что-нибудь-этот маньяк-детектив, наметивший себе жертву?

О рокн-ролл в открытую форточку! О распахнутая дверь на балкон! О свет и музыка! И о европейская провинция-век девятнадцатый, освещенный огнями двадцатого.

Холодно. Жутко. Пустынно. Дует ветер.

А вот и медведь, забредший из леса, спешащий по Невскому вместе со спешащими прохожими: 11 вечера- пора и домой, выпускающий часто пар из своей пасти.

Стоят в темноте храмы, мокнут дома, а под ними- скамейки и- никого, ничего...

Темно. Жутко. О! О!

Конец ли это двадцатого, или это век девятнадцатый смотрит из подворотен, грозит пушкой, сквозит каналами?! Вглядываясь в даль, стоя на мосту, что увидеть можно сквозь исторические бредни, гениальные сплетни и легендарные вкусы?!

Что это за человек тащится через Аничков мост, в цилиндре; постоял на мосту, постучал палкой, заглянул в воду: "У жутко, холодно", - и пошел дальше?!

Тени, тени, только одни лишь тени и- никого, ничего.

О, как пустынно в этом городе! О, какие глаза-провады смотрятся в каналы, глядятся в ночи!

Не будет счастья в этом городе, бежать надо из этого города- но куда бежать?: нет погоды в Германии, нет пого-

ды в Гренландии и британский Лев потонул во мраке.

Светятся огни, идут дожди, но огня погасить не могут.

...А то сорвешься и в самом деле побежишь, дыша холодом, запыхавшись и через спину оглядываясь, слыша сзади топот своего испуганного сердца...

И ты, всхлипывающий, ты задыхающийся, обхвати голову и в канал, в канал— там, там твое место, там, там твое детство... но только тени, одни лишь тени бродят по городу и— никого, ничего.

Вчера вбежал в парадную: вздрогнул— на первой ступеньке стоял "он", шарф обмотал вокруг рта.

— Боже мой, не стойте так!— и пробежал мимо.

И тихо, тихо, боясь уронить, боясь разбудить— "ох, наконец—" и на мгновение, оцепенение, залег между страниц, ожидая, когда не ветер—выстрел рванет форточку, распахнет окно и... тихими, тишайшими шагами: "о не упади! не упади!— снова на улицу, "душно, душно здесь, бежать надо из этого города", но тот что стоял на первой ступеньке, стоял уже на ступеньку выше.

— Боже мой, не стойте так!— и бегом, бегом и вниз и вниз, и на улицу, на улицу...

Пустынно, холодно и дома—промоины мокнут под дождем: дома плохо, но и на улице хуже.

О склонись, склонись! выпади, выпади! растворишься в каналах! везде холод, везде мрак и только тени, безутешные тени, вот и моя тень и твоя.

Все потонуло во мгле этого города, все потонуло во мраке и если что-либо и живет и дышит, так это заводы—за-

боты, там другая эпоха, там другая эпоха: в белых халатах, в белых халатах...

Жутко. Холодно. Бежать надо из этого города.

Хлюпает нельская волна, ходит нельская вода— хоть бы луна была что ли? Но и луны нет!

Есть такси, есть свет счетчика, есть тик-так...

Домой, домой— в теплую постель, в теплую фланель, эх, ничего не надо— ни идеалов, ни каналов, закрыться бы с головой и лежать, слыша как кто-то ходит, кто-то бродит и осенний ветер несет дождь над заливом.

Холодно. Жутко. Бежать надо.

В тот вечер он вышел на улицу. Да, в тот вечер он вышел на улицу, ибо в тот вечер он никуда не мог выйти, кроме как на улицу.

Был конец ноября. И был вечер. И было темно и холодно. И было сыро и был какой-то туман, и была морозящая мгла, покрывшая весь город; где-то чувствовалось— темная Нева, где-то чувствовалось— Финский залив и последние листья мокли на панели.

Последние листья мокли на панели и текла по центру города толпа, спешили машины и мигающий глаз светофора отбрасывал то красный, то зеленый, то желтый свет, делая улицу театральной: лихорадочно блестели глаза, лаково блестели вымытые дождем машины, блестел асфальт, выказывающий свою гладкую и мокрую плоть, ничего не выражающую и холодную.

Он шел по Невскому и думал о том, как он много провел

своего времени в бесцельной ходьбе, в ходьбе никуда, когда особенно чувствовалась отъединенность от проходивших мимо людей и когда возникали надежды, что уйдет куда-нибудь этот город, утонет, скроется и солнце и утро наполнят его ровным и постоянным счастьем и очарование падет на глаза.

Южные дни, южные ночи— вот что часто виделось ему в последнее время, когда он проходил под морозящим дождем по улицам этого города, кружа и стеная и поднимая лицо к пасмурному небу, заглядывая в парадные, дрожа на углах полных слез.

Юг, Флоренция, Крым— вот слова, которые ему часто являлись, когда он проходил по вечерним освещенным слабым светом улицам, мимо дымящих, играющих светом ресторанов, у входа которых взад и вперед всегда прогуливались две-три женщины, с потрепанной сумкой в руке, сумкой, где покоилась их судьба: нищая ворожея с подведенными глазами. Он вспомнил южные и кажется давно забытые, как развалины прекрасных памятников, города, и видел себя в теплом и ясном сентябре, в сумерках, когда каждый звук томителен и ясен, а глаза сидящих перед своим домом устремлены на закат.

Там, на юге, большая часть его жизни проходила на улице, здесь же в темных комнатах и коридорах, освещенных электричеством; здесь было всего три месяца, когда хотелось выйти на улицу, три месяца после которых наступала пасмурная, длаящая всю долгую осень и зиму, и большую часть весны, погода, когда один взгляд на бесконечно се-

рое и скучное небо вызывал глухую тоску.

И сейчас, идя по осенней улице, он со щемящей тоской вспомнил себя маленьким мальчиком, таким же мокрым холодным вечером среди мусорных баков, во дворе, глядящим на освещенные окна, как будто одно из них должно открыться и его пригласят на праздник, подобный празднику новогодней елки или карнавалу.

"Есть во мне какая-то странная тяга, до тоски, до зависти к другим людям, — думал он идя по вечерней улице. — Все мне кажется, что кто-то живет совсем иной, прекрасной жизнью, чем я, и стоит мне ее узнать, как и у меня она будет такой же."

О, как он понимал тех, кто будучи в подпитии, шутил с тем или иным пассажиром в автобусе или трамвае, выказывая тем самым, непроявляющуюся, очевидно, в трезвом виде, страсть к общению, на что чаще всего получал в ответ холодное молчание или грубое оскорбление.

Но были в этом городе и те, кто давно отказался от всяческого общения, те, к которым он не относил себя, хотя и замечал некоторые сходные с ними черты, те, кто вели постоянный несконцаемый диалог с самим собой: одинокая ли старуха вынырнувшая из-за угла и снова исчезнувшая за углом или вечерний человек, поднимающийся по лестнице.

И он тоже в последнее время вдруг замечал, что разговаривает сам с собой, а вернее продолжает вслух свои мысли.

Одиночество, постоянное кружение по городу, как будто он заблудился среди этих домов и улиц и никак не мог

найти выхода, и все время возвращался на одно и то же место, то и дело останавливаясь и спрашивая себя: "Ну что же делать? Что же дальше-то делать? Куда дальше-то идти?"- вот что угнетало его в последнее время, заставляя думать об иных и, как ему казалось, прекрасных городах, где не будет этого чувства отъединенности от проходившей мимо толпы, заполняющей все: транспорт, улицы, дома, толпы, выходящей из кинотеатров и концертных залов, толпы, где на некоторых лицах была видна усталость то-ли от недосыпания и тяжелой работы, то ли от ожидания любви, которую он замечал в лицах по печально опущенным уголкам губ, по стягощенным мраком глазам.

"Хорошо жить там, где всегда лето,- думал он, идя под морозящим дождем и вдыхая влажный воздух, воздух, который он любил с детства и который стал его раздражать, когда он подрос.- Хорошо жить там, где ночи теплые, а звезды падают под углом, а глаза любимых светятся в ночи, а вдали видны огни селений."

Он подошел к углу Невского и Владимирского, к тому самому ~~хххх~~ месту, где был хорошо известный кафетерий и где собирались разные "типы": фарцовщики и спекулянты, пьяницы и наркоманы, бездельники и блудницы и куда иногда заглядывали художники и поэты, и где можно было встретить знакомого, назначить свидание с приятелем.

Да, да,- думал он, входя в кафе,- какое приятное состояние- сидеть где-нибудь в тепле и разговаривать с человеком, которого любишь, слушать его умные или просто незначительные речи, наблюдать за каждым движением его губ, выражением глаз, зная, что то, что он скажет будет согрето

искренностью и добротой.

Но где эти люди: три-четыре человека, которых он искренне любил? Где эти странные птицы, потерявшиеся в этом городе, которых не надо тревожить, ибо им от этого будет еще хуже?

В кафе как и всегда были те же очереди у кофеварочных машин, та же толпа стоявших или разгуливающих молодых людей, те же с виду ничего незначащие взгляды на входящего, те же руки, небрежно помешивающие ложечкой кофе, разве только на этот раз было много арабов и негров, а также иудеев-этих, широко разлетевшихся во все концы земли, детей природы.

- Господи, хоть бы с кем-нибудь поговорить, - думал он, - хоть бы кого-нибудь встретить.

Оглядев кафетерий, весь его зал, заполненный толпой, и никого из знакомых не заметив, он вышел на улицу и повернул налево, и пройдя несколько метров по Владимирскому, остановился и стал бесцельно смотреть на проходивших мимо него людей, на куда-то спешащие мокрые машины.

Он часто так в последнее время останавливался, и с какой-то грустной отъединенностью смотрел на движущийся и живущий уличной жизнью город, и город вдруг уходил от него, и в него врывался другой мир, мир воспоминаний и музыки, мир, звучащей на ветру листвы, мир забытых городов-очарований.

Что за счастье было жить в подобном состоянии! Какая красота посещала его: ложилась ему на лицо, томила губы!

Какой свет цветущего дерева освежал ему глаза!

...И теперь, когда он стоял и смотрел на утонувший в дожде и мраке город, ему хотелось, ему очень хотелось хоть на миг увидеть это "весеннее счастье" и чтобы рядом были горы и чтобы дети бежали по дорогам.

"Оставившему свой дом и ушедшему в страстие, — шептал он эпитафии давно забытых лет, — Забывшему отчий край и свою любимую родину..."

И в который раз, как и обычно при этом, содрогнувшись всем телом от холода, он подумал о том, что он не любит "севера", какие бы дифирамбы ему не пели, сколько бы не болтали о его "культуре" или о красоте синих сугробов и фиалковых снегов, в которых хочется красиво умереть и не больше: барский романтизм славной русской зимы, призыв невесты с холодным сердцем: снегурочки.

Нет, он не любил слово: "север" и не любил слово: "снег"!

Он любил другие слова, другие красоты томили его сердце.

Единственное, что оставалось ему, живущему в этом городе — это отказаться от внешнего мира, жить миром созданным воображением и фантазией.

Он знал это. И все же одна скулящая и ищущая поддержки и сочувствия мысль постоянно ныла в его душе.

Это была мысль о всеобщей гармонии, о красоте и счастье созданных здесь на земле, а не где-нибудь в ином месте, в иных просторах и планах.

— Отчего же всем не быть счастливыми? — иногда думал он. — Отчего же всем не радоваться и не веселиться? Давайте возьмемтесь за руки и будем веселиться! Такие призывы он

иногда мысленно слал миру, понимая как они по детски наивны и как они неосуществимы.

...Чего он ждал? Чего ему хотелось в эти минуты, когда он стоял и смотрел, как подходят к остановке светящиеся дома-трамваи и как шуршат и трещат троллейбусы, роняя с проводов искры, так похожие на искры электросварки?

Ему трудно было бы и самому на это ответить, но одно он знал, об одном он думал - о том, что ему надо куда-нибудь пойти и с кем-нибудь из знакомых провести этот вечер.

Он мысленно перебрал тех, к кому он мог бы или хотел бы зайти: один не принимал, другой был занят, у третьего была беременная жена, у четвертого был маленький ребенок, пятый был вечно пьян, шестой... и так далее и тому подобное, седьмого же не было...

- Пора понять, что ничего хорошего в твоей жизни не произойдет, - подумал он. - Пора научиться ничего не ждать... Пора возвращаться домой и ложиться спать, чтобы завтра на работу...

Докурив сигарету и тяжело вздохнув, он еще раз взглянул налево и направо по проспекту, а потом медленно двинулся в сторону "пяти углов".

Дома его ничего не ждало. Дома его ждала вечно усталая и раздраженная мать и ее изо дня в день повторяющийся вопрос-замечание, когда он только открывал дверь комнаты, от которого ему хотелось иногда рыдать и лезть на стенку: "Ты опять не вытер ноги?"

Это называлось "жить со своими родителями".

И ему часто хотелось сбежать по лестнице, выйти на

улицу, уйти, чтобы уж никогда обратно не возвращаться.

Но идти было некуда. Была какая-то очень простая истина: идти было некуда. Никто его, как и сегодня, нигде не ждал. Везде была ночь и везде колючей останавливающей проволокой были желтые огни, раскачивающиеся на ветру и смотрящие холодным мертвым взглядом.

И когда он смотрел на эти огни, он вспоминал себя похожей осенней ночью, тринадцатилетним отроком, в одних трусах на одном из темных углов, изгнанным из дома пьяным отцом.

И тогда ему некуда было уйти и тогда он был никому не нужен, и тогда он содрогался от холода и сырости, и тогда он грустно смотрел на эти желтые огни, перед которыми хотелось встать на четвереньки и скулить, лаять, выть, заглушая этим свое рыдание.

- Да, да,- шептал он,- Все скисло в этом городе. Несколько поэтов и художников, а все остальное мелкие страстишки; деньги и девки; ханжество и ложь.

Игра в добродетель среди официально признанных и в христианство в среде богемы возглавляемой особой, так похожей на бледную поганку, взобравшуюся на пенёк /существом безобидным, но полным душевной слепоты/, когда она вещала, возвышаясь над всеми, на так называемых религиозных семинарах, устраиваемых в одной из квартир-"салонов".

- Что вы болтаете о боге?- хотелось ему всегда сказать, когда он смотрел и слушал, с какой серьезностью "они выступают".- Достало бы нам ежедневного тепла и человечности. Посмотрите вокруг. Снимите пелену с глаз. Ведь

здесь собрались совсем разные: рядом с блудницей сидит гордыня, со сладострастником— чревоугодник, с моралистом— им— моралист, с иудеем— христианин, с бесем— шарлатан, что прикрываясь искренностью заняты ничем иным, как болтовней на этой ярмарке тщеславия и когда "семинар" кончится, вы снова начнете жить по тем законам своего характера и своих мирских дел, где ни о каком боге не может быть и речи, и где бог поносится и распинается, каждый час и каждую минуту...

Так не лучше ли вам признаться, что бога никакого и нет. Ибо бог— есть любовь, а любовь не разменивается на пустую болтовню в гостинных."

И теперь, идя по улице, он подумал о том, как он много времени потратил во всех этих компаниях и сборищах, в ожиданиях искреннего, неподдельного душевного движения или чувства, наталкиваясь на ложь, ханжество, холодность и расчетливость.

Одиночество— вот что гнало его на те или иные "вечера" и "встречи"...

Одиночество— и сейчас гнало его по мокрой дождливой улице, по холодному, уже начинающему вымирать к девяти часам вечера городу.

Проходя мимо телефонной будки и мысленно отметив, что в ней пусто он решил все—таки позвонить одному из тех немногих, кого он любил, тех, кому он не хотел мешать, но кого видеть ему всегда было приятно.

Он подумал о том, что в жизни каждого могут наступить такие времена, когда не хочется никого видеть.

Такое время наступило у того, кому он хотел сейчас

позвонить, а может быть, он так представлял, как и представлял его самого: не красивым и гордым бардом, сошедшим с подмостков, каким он казался на людях, а потерявшим небесную связь ангелом, чья душа опустившись на землю трепетала, как у больной нахохленной птицы или ребенка.

"Молиться на непоколебимого, преклоняться перед ушедшим", — прошептал он и подумал о другом, том, кто находился далеко от этого места города, том, кто сознательно ушел в одиночество, ибо звуки диссонансного мира врываются в его существование, мешали ему жить, и он собственной волей решил их подавить, дабы успеть свершить то, что он задумал.

— Ну, что же, не будем ему мешать, — вздохнул он.

Стоя перед телефонной будкой, он слышал свою скулящую и ищущую общения душу и глядя печальными глазами в вечер, он желал забыться в общении, как наркоман после наркотика, как похмельный после стакана с вином.

Был еще третий, кого он особенно любил в этом городе, тот, кто часто пропадал по ночам на пожарах и наводнениях, чудаки и добряки с душой ребенка, в которой ему иногда слышалось рыдание.

Сегодня его не было дома. Сегодня он был на работе. Сегодня ему незачем было звонить.

— О! О! — раздавалось в его душе одна до душевной боли, до страдания, нота, — Хоть бы с кем-нибудь поговорить. Хоть бы кого-нибудь увидеть.

Он вошел в телефонную будку, хотя и знал, что напрас-

но это делает. И все-таки он на что-то надеялся, на что-то рассчитывал.

Он решил позвонить тому, первому, который жил здесь, неподалеку, на Фонтанке.

Набрав нужный номер, он медленно поднес трубку к уху, еще не зная что и говорить, что и спрашивать, кроме того, — как, мол, жизнь или как, мол, дела.

Он слышал треск и шелканье в телефонной трубке и далеко в космическом пространстве усталый и, кажется, давно погасший голос с трудом ему ответил на то, что, мол, он хочет как-то там встретиться и поговорить:

— Сегодня не могу. Позвони завтра.

— Да! — сказал он сам себе. — Да, — вдруг понимая, что завтра этого не будет.

Мысленно он представил того, кому он сейчас звонил, с телефонной трубкой, прижатой к уху, устало поднявшегося на ноги и слегка раскачивающегося от слабости и многодневного пьянства, в странной и совершенно неземной печали.

— Сегодня не могу. Позвони завтра.

"Не будет этого завтра, — тяжело вздохнув повторил он и, медленно опустив трубку, вышел на улицу. — Не было сегодня, не будет и завтра.

И опять: "О! О! О! — Хоть бы с кем-нибудь поговорить. Хоть бы кого-нибудь увидеть."

Когда человек очень одинок, и подобно пойманной на крючок рыбе кружит по городу, то и дело возвращаясь туда, откуда он начал свой путь, он часто переходит с одной стороны улицы на другую, хотя надобности в этом никакой нет.

Вот и он, выйдя из телефонной будки, перешел через улицу наискосок, явно нарушая правила уличного движения и потому заставляя притормаживать несущиеся на него машины.

Холодный пот печального ребенка
На скользкой гриве плотного асфальта—
Вот бытие. Его не нарушает, ни звук
органа, сомкнутые руки, поднявшиеся
в горестной молитве,
Ни заговор правительств африканских, ни
падших женщин задранные юбки,
в которых зреет семя апельсина.
О апельсин раздавленный сегодня!
Не будет завтра! Нет не будет завтра!

Перейдя через улицу, он опять повернулся лицом к ее проезжей части и так и остановился: "вон она телефонная будка, а над ней занавешенные окна: "кабак, а в кабаке люди."

На мгновение ему захотелось снова перейти улицу, войти в ресторан, углубиться в его длинные коридоры, пропасть в его светлых залах. Но денег не было, да и давно уже было все выпито.

Он смотрел на окна, на занавеси, казавшиеся ему почему-то траурными и все ждал, что угол одной из них зашевелится и кто-то выглянет в окно и тогда... Что тогда? Да ничего: тогда. Он не знал, что будет это "тогда", но ожидал его как мечту, как надежду.

Но окна оставались, и так и остались неподвижными.

Он вспомнил, как лет десять назад он был в этом ресторане с одним из своих приятелей и как, подвыпив, прия-

тель сказал, что он, приятель, гений и что таких не было и не будет и что его задача создавать нетленные ценности.

Приятель так и сказал "нетленные ценности" и еще сказал, что "на нашем поколении лежит ответственная задача."

Потом они пили в мастерской знакомых художников и приятель и там говорил, что он гений и приставал к одной из бывших там девиц.

Он то и дело уводил ее от стола в угол комнаты и что-то многозначительно шептал и обнимал ее, отчего сидевшим за столом было неловко: все как-то не смотрели друг другу в глаза.

И теперь, глядя на этот знакомый ему дом, с траурными занавесями в окнах второго этажа, он только улыбнулся своим воспоминаниям и подумал о тщеславии и глупости своего бывшего приятеля.

"Да, тщеславие никогда не было украшением ума, оно только распушало петушиный хвост, что, очевидно, нравится определенного рода женщинам, любительницам петушиных боев и генералов."

После этой встречи в ресторане, он вскоре узнал, что приятель женился, а после женитьбы началось банальное то, что называется "заеданием быта", "плохими условиями жилья", "нищетой", "ежедневной работой на производстве".

К тому же появилось двое детей, жена была не очень верна— вобщем в таком положении не один гений сойдет с ума, или сопьется, так что уж говорить о том, кто был не лишен тщеславия.

Случилось второе— приятель стал пить и в минуты от-

кровенности он уже говорил, что он пропил свой талант, что все потеряно и что единственная надежда— это бросить пить и "тогда"... Что "тогда"— он, впрочем, не добавлял.

— А не зайти ли к нему?— подумал он, понимая, что "его приходу никто не будет рад" и что он может быть даже будет встречен враждебно.

Зайти— это значило для него посетить кладбище своей юности, на котором давно уже не порт птицы, а растет чертополох и валяются пустые бутылки из под спиртного.

И все же где-то далеко, в глубине души, ему хотелось верить, что все осталось по-прежнему, как и в прежние времена, когда они думали, что будут верны дружбе и "по мере сил и возможностей будут делать искусство."

"Делать искусство"— вспомнил он и улыбнулся банальному сочетанию этих слов.

"Ах, как мы были наивны,— думал он.— Как удивительно нескромны."

"И все же была вера. Все же были идеалы. Все же было душевное единение. Или это только казалось?"

— Ладно,— решил он,— Будь, что будет. В последний раз зайду, сказав, что я это просто так, что я это— случайно, мимоходом... Все таки— я его когда-то любил.

Он двинулся к "пяти углам", а потом повернул направо и пошел по мокрой темной улице, обычной пустынной вечерней улице европейских городов прошлоро века, когда по ней идет одинокий человек.

О!О!О!— звучала в нем одна и та же нота и он чувствовал тяжесть отсыревшего демисезонного пальто, в которой

ему чудилась его неуклюжая старость.

Выйдя к Фонтанке, он свернул налево и, перейдя через проезжую часть улицы, пошел вдоль гранитной ограды, а потом где-то и остановился, положив руки на холодный и мокрый чугун, и стал смотреть то на реку, то на пасмурное темное небо, то на горевшие глазами-окнами дома, которые обступили и смотрели на него.

Руки приятно холодило, лицо было влажным, а вода в Фонтанке качалась и казалась неживой, как жидкое стекло или разбавленный клейстер.

Город с его избитым и надоевшим Финским заливом, с его обрыдлыми гранитными берегами и холодной волной плещущей о гранит, был пустынен и скучен, как пустынен и скучен бывает прибрежный камень под дождем.

- Да, да,- шептал он, глядя на сгрудившиеся вокруг него дома- доисторические животные, динозавры в ночи.- Да, да. Души слабые неспособны жить в этом городе. Они томятся, мечтают о какой-то иной жизни и, не находя ее, расстаются со своим телом улетая в иные просторы и планы, где царит вечное веселье и красота.

- Да, да,- шептал он.- Слишком много ~~жужж~~ тумана и влаги, слишком много тумана и влаги.

О, как ему хотелось, стоя над Фонтанкой и глядя в холодное дующее ветром небо, взмахнуть крыльями и чувствуя, все увеличивающуюся в теле силу, набрать высоту и, сначала медленно, а потом все быстрее, лететь навстречу утренней заре, свободе.

Склонившись над каналом и даже на какой-то миг почувствовав в нем неоодолимое желание броситься в него, в воду, кото-

рая так и притягивала, так и звала упасть, дабы, превратившись в рыбку уплыть "в великое течение океана", он подумал о тех стихиях, которые время от времени зовут нас к себе и особенно тех, кто их слышит.

Страхнув с себя это наваждение, он повернулся спиной к каналу и оказался лицом к дому, в который намеревался войти.

О, каким пустынным он ему показался!

О, какой темной была парадная, освещенная тусклой лампочкой! Какой грязной и неприятно пахнувшей была лестница, по которой он стал подниматься.

- Да, да,- шептал он поднимаясь по лестнице,- Ничего не происходит. Ничего не произойдет и не происходит. Вот я сейчас приду и ничего не произойдет. Будет обычная скука, ленивые ~~ж~~ вопросы и "ни до кого, ни до чего."

Поднявшись на пятый этаж и слегка запыхавшись, он встал лицом к двери и прислушался.

- Вообще-то мне уже не хочется туда... Вообще-то лучше, чтобы его не было дома...

Задержав дыхание, он с напряжением прислушался: не раздадутся ли шаги в квартире по коридору и тогда можно облегченно вздохнуть: "эх наконец-то" и, нажав кнопку звонка, начать медленно спускаться по лестнице, чтобы услышать, как со спины тебя зовут.

А пока он слышал только стук своего сердца и больше ничего, разве только тишина была какой-то пугающе звонкой.

Он еще раз нажал на звонок. И, помявшись и даже сделав шаг к ступеням лестницы, снова вернулся к двери.

Нет, он не мог просто так уйти. Он не мог, он не хотел просто так уйти.

Позвонив еще раз, он склонился и заглянул в отверстие в двери, где когда-то должно быть был замок и куда когда-то вставлялся ключ, а теперь спокойно мог войти палец.

"Странно, почему же никого нет?— прошептал, чувствуя как из отверстия ему в висок дует холодом.— Неужели все ушли? Или умерли?"

Еще раз позвонив и уже не ожидая, что ему кто-нибудь откроет, он стал спускаться по лестнице, сначала медленно и, надеясь, что дверь откроется и его позовут, а потом быстрее и уже ни на что не надеясь.

Надо было возвращаться домой. Надо было продолжать жить.

И все же ему было легче. Все же какой-то груз спал с него и ему было легче.

Так всегда было с ним. Даже если он не заставал кого-нибудь, оставалось ощущение, что он где-то побывал, с кем-то поговорил.

Так и на этот раз.

"Может быть потому,— думал он,— Что двери тоже умеют говорить."

...Над городом вставала сырая холодная ночь. Ночь поздней осени 1977 года.